

Тени «желтого доминиона» -3: Дорогой бесчестья

Category: Kitapcy, Taryhy proza

написано kitapcy | 24 января, 2025

Тени «желтого доминиона» -3: Дорогой бесчестья ДОРОГОЙ
БЕСЧЕСТЬЯ

– Слушайте, люди славного Шехрислама! – вещали глашатаи на площадях многолюдного города, славившегося мастерством оружейников и гончаров, чеканщиков и зодчих. – Слушайте!.. Вероломные каракитаи напали на земли Турана. Они предают огню наши дома, бесчестят наших жен и дочерей, убивают наших братьев... Люди! Вы слышите, как стонет наша многострадальная земля?! В ком жива честь, – к оружию! Лучше гордая смерть, чем позорный плен!

С раннего утра кварталы города жили этой новостью; с холодеющими сердцами люди внимали очевидцам, испытавшим изуверство чужеземцев. Разорение и тлен оставляли они за собой. Воинов диких орд счесть невозможно.

В город стекались беженцы. Вражеские полчища, двигаясь по земле Турана, огнем и мечом прокладывали себе путь, угрожали славному Шехрисламу.

Все горожане от мала до велика вышли за крепостные стены – копать рвы, наполнять их водой; оружейники ковали копья и мечи, кольчуги и шлемы; кузнецы выделывали казаны и чаны, а жены топили в них смолу; гончары готовили на долгую осаду посуду для воды; женщины и дети тесали колья, вили веревки. Весь люд готовился к бою.

Молодой кузнец Язмурад, искусно изготавливавший мечи из дамасской стали, дни и ночи без усталости ковал оружие. На исходе древесный уголь, и мастер поспешил к своему другу Ниязу, оружейнику из соседнего квартала, чтобы одолжить у того угля для горна. Друга он дома не застал. Тот тоже, изготавливая оружие, сжег весь уголь и теперь уехал в горы, в арчовые леса, где железных дел мастера валили деревья, заготавливали

древесный уголь. «Поеду-ка и я туда», – решил кузнец. Мигом собрался в дорогу Язмурад. Надел кольчугу, вооружился мечом и луком, взял инструменты и поскакал к синеющим вдали отрогам Копетдага.

К вечеру кузнец добрался до родника со студеной водой, такой чистой и прозрачной, как слезы прелестных гурий, что Салсабиль, легендарный райский источник, упоминаемый в Коране, по сравнению с ним покажется жалкой лужей.

Дальняя дорога, бессонные ночи, проведенные за горном, сморили Язмурادا. Едва разведя костер, поставив в него железный кувшин с водой, он тут же уснул богатырским сном.

Случилось так, что в ту пору слонялся в горах никчемный человечишко, собиравший дрова. Наткнулся он на безмятежно спавшего кузнеца и ахнул – то ли от неожиданной встречи с человеком в безлюдных местах, то ли от подлых мыслишек, появившихся в его голове.

Было, конечно, чему удивиться: Язмурад, красивый, как прекрасный Юсуф, стройный, как кипарис, лежал на траве. За поясом – кинжал в серебряных ножнах, рукоять с золотой насечкой и затейливыми инкрустациями, рядом два стреноженных иноходца арабских кровей – одно загляденье, на земле – поклажа в шерстяных чувалах.

Молодой кузнец не просыпался, а человек все стоял над ним как вкопанный. Зависть туманила его разум, шептала ему чудовищное: «Почему он так красив, а я безобразен? Почему он при оружии, а я безоружен? Убить его надо. Красота его мне не пристанет. Зато кони, оружие станут моими... Кто его хватится? Сгинул человек в дороге! Каракитаи Шехрислам вот-вот раздавят. А если он проснется, одним мизинцем меня придушит...»

И трус свершил свое гнусное дело – зарезал спящего человека, ограбил, сбросил труп в ущелье, а сам, переодевшись в его одежду, бежал.

Вскоре вернулся домой Нияз и узнал, что Язмурад поехал за ним следом. Станным показалось оружейнику исчезновение друга. Разминуться они не могли – дорога в арчовые леса одна: вдоль кяризов – подземных водных галерей и по горным кручам. Смутная тревога заполнила душу Нияза, и он отправился на поиски друга.

В глубоком ущелье Нияз отыскал обезображенный труп Язмурада, привез к себе домой, дал знать матери покойного, а сам занялся розысками убийцы. Нияз, известный в округе следопыт, легко отыскал изувера и, привязав его к конскому хвосту, с веревкой на шее провел по всему Шехрисламу – так поступали с убийцами, ворами и прелюбодеями, а после привязал к могучей чинаре, росшей во дворе.

В доме Нияза свершался по усопшему поминальный ритуал. По тогдашним обычаям, поминки справлял самый близкий друг умершего. Люди Шехрислама, собравшиеся на тризну, сочувствовали убитой горем матери, высокой женщине, статной и гордой.

После трапезы и джиназы – заупокойной молитвы – мать поднялась с места, обнажила седую голову, поклонилась солнцу, светившему над головой, куполу мечети, сверкавшему золотом, затем отвесила глубокий поклон Ниязу, его жене, всем их родичам.

– Спасибо вам, люди, за честь, – скорбно произнесла она. – Спасибо, что почтили память единственного сына, который был мне дороже собственных глаз. Но не время сейчас тризну править и слезы лить – заклятый враг топчет земли Турана. Народ поднимается на защиту своих очагов. Бедному Язмураду не довелось скрестить свой меч с вероломным иноземцем. Но с выкованным им оружием пойдут в бой сотни джигитов. Это тешит мое материнское сердце... А теперь, люди, не обессудьте. Я хотела бы взглянуть на заклятого кровника, поднявшего руку на моего сына.

Люди притихли – сейчас свершится акт возмездия. Нияз взял женщину под руку, повел к чинаре, где был привязан убийца. Мать медленно, словно слепая – слезы застилали глаза, – приблизилась к дереву.

Вот Нияз вложил ей в руки дамасский клинок, острый как жало. По существовавшему тогда закону кровной мести мать имела право своей рукой покарать убийцу. Лишь два шага отделяли ее от человека, который лишил жизни ее сына. О всевышний! Она ожидала увидеть дива – рогатое чудовище, с хвостом и копытами, обросшее шерстью, с налитыми кровью глазами, или злого Иблиса – сатану и дьявола, а увидела неказистого человечка,

бледного, трясущегося от страха.

«Неужто женщины родят таких? – думала она. – Несчастные матери... В лихую годину эти люди не выдерживают испытаний, становятся предателями. В чести они видят бесчестье, в чужой радости – горе, в белом – черное, в красивом – уродливое, в добром – злое. Когда народ горюет, они смеются, когда люди радуются, они исходят злобой. Им неведомы ни отцовство, ни братство, они не испытывают привязанности к отцу и матери, к семье и близким, у них не бывает друзей, ни даже врагов. У кого нет горечи, у того нет и сладости. Они не знают, что такое любовь, счастье, верность родине и долгу... И жить-то им на белом свете – одна мука. Такому быть моим врагом, а значит, и врагом моего сына, – большая честь... Враг у ворот Шехрислама, враг сейчас тот, кто посягает на свободу родины, моего народа...»

– Это мой кровник?! – Мать указала острием клинка на убийцу. – Он?!. Нет! Он... не может быть моим врагом. Я дарю ему жизнь. Развяжи его, Нияз! – И она вернула ему клинок, повернулась к людям, ожидавшим зрелища. Ее лицо было спокойным и величавым, как хребты Копетдага.

А убийца, жалкий и ничтожный, распластавшись у комля чинары большим червяком, часто вздрагивал, все еще не оправившись от страха, ибо плохо соображал и не верил в свое спасение, что-то жалобно мычал. По его грязному, сморщенному лицу текли ручейки слез, оставлявшие бледные полосы; он пытался поцеловать ноги этой великодушной женщины, но, не рассчитав, ткнулся вытянутыми мокрыми губами в землю, в оставленный ею след.

Из рассказов аксакала Сахатмурада-ага, что живет в долине Мургаба

Древний караван-сарай, выдавший еще воинов грозного Тамерлана, засыпал тревожным сном. На его черном дворе укладывались усталые верблюды, всхрапывали полусонные лошади, брыкались стреноженные мулы. Под трухлявым камышовым навесом, у наглухо закрытых дверей кавеханэ – кофейной, на голом саманном полу копошились тени. Люди переговаривались шепотом, с опаской

поглядывая на узкие бойницы окон высокого каменного дома, стоявшего напротив. Там жил бойкий, но строгий сарайман – смотритель караван-сарая, из милости пускавший сюда на ночь бездомных и нищих со всей округи.

Правда, о сараймане шла и нелестная молва: без корысти и пальцем не шевельнет. Но какое дело до того сирым и бездомным, которым и приткнуться негде! А на улице заночуешь, жандармы заберут, в зиндан-тюрьму, на съеденье вшам, клопам и блохам, упрячут. А тут худо-бедно, какая ни есть, крыша над головой, а там, смотришь, и работа подвернется.

Свернувшись калачиком у вьюков с шерстью, Нуры Курреев вяло и дремотно думал о сараймане, своем новом благодетеле. Может, напраслину возводят на человека? А он участливо расспросил его, Нуры, внимательно выслушал, повздыхал, прочел заупокойную молитву по отцу, приютил... Когда прибывали купцы с караванами, давал заработать. Платил, признаться, негусто... Да разве на всех напасешься? Таких, как Курреев, вон сколько!

И в самом деле Нуры Курреев был в душе благодарен сарайману, насколько могла быть благодарна его непостоянная натура, подтачиваемая ржой трусости и страха, признателен этому вечно озабоченному человеку, оказавшемуся хивинским туркменом по имени Шырдыкули.

Обитатели караван-сарая, охочие до чужих секретов, уверяли, что сарайман, смахивающий своим обличем на европейца, светлокожий, лишь для виду держит караван-сарай. На самом деле он крупный торговец, скрывающий свои доходы, чтобы не платить налогов.

Да, Шырдыкули, он же Платон Новокшонов, агент английской разведки, действительно рядился в чужую одежду. Осужденный советским судом на длительный срок заключения, он с превеликим трудом смог бежать из-под стражи, ускользнуть за кордон и поселиться в горном проходе между Ираном и Туркменией, где на перекрестке многих дорог стоял древний караван-сарай. Всеми своими повадками он напоминал курейшитов, средневековых жителей Мекки, которые не признавали ислам, исповедовали многобожие, одинаково неистово поклоняясь и богу и сатане. Но в отличие от древних арабов, слепо обожествлявших свои фетиши,

Шырдыкули, расчетливо поклоняясь «богам», признавал силу и власть лишь одного «демона» – золота.

Ходили слухи, что сарайман снаряжал оружием и конями лихих людей, совершавших набеги на соседние племена и за кордон, откуда они привозили богатую добычу, красивых наложниц. Нуры и сам бы не прочь пограбить всласть, особенно сородичей, оставшихся там, на родине. И какое ему дело до проделок сараймана – пусть хоть людьми торгует! Главное, что Шырдыкули, которого Нуры никогда до этого не знал, сочувственно отнесся к бывшему джунаидовскому телохранителю.

– Мы, туркмены, дети единой веры, верные слуги аллаха. Сам аллах велел помогать друг другу. А чужбина нас роднит и сближает, – рассуждая так, Шырдыкули протягивал Куррееву чашку со вчерашним пловом или кусок зачерствелого чурека.

Только днями Курреев заметил, что глаза его благодетеля, влажные, с блестящими зрачками, посажены слишком близко друг от друга и смотрят недоверчиво. Коченея под стылым взглядом, Курреев передернул плечами, но привередничать не стал и, давясь едва пришедшими на ум словами благодарности, принял деревянную чашку. Ежедневные подношения сараймана Нуры принимал за благодеяние, содрогаясь при мысли, как бы скоро не пришлось за милостыней руку протягивать.

С тех пор как Нуры Курреев бежал из родного аула, оставив там жену и сына, прошло почти два года. Он изъездил всю Туркменскую степь вдоль и поперек, исходил многие города и села, раскинувшиеся вдоль ирано-советской границы, надеясь отыскать Джунаид-хана, его сыновей Эшши-бая и Эймир-бая – за ними он, Курреев, и кинулся, как пес за хозяином. Но его бывшие повелители словно сгинули. Курреев продал коня, оружие, обносился, истратил все золотишко, отыскавшееся в отцовском ковровом хорджуне – ковровой переметной суме.

Но дни шли, полуголодные, унылые, похожие друг на друга. Казалось, целая вечность отделяла Курреева от того момента, когда его конь ступил на чужую, постылую землю. Чтобы не умереть с голоду, он нанимался и в пастухи, и в батраки. Но стоило ему задуматься, чьи стада выпасал, кому богатства наживал, цепенел от злобы. А когда вспоминал отцовскую отару,

перехваченную советскими пограничниками, сердце кровью обливалось. Хотя бы половину той отары сюда, хотя бы самую малость того добра, что запрятал отец в Каракумах, в глухом урочище Пишке... О, тогда Курреев зажил бы, не зная печали, тогда и вовсе не стал бы разыскивать своего бывшего хозяина. Пропади он пропадом!

Овцы, ковры, халаты, дорогие украшения снились Куррееву по ночам. И тогда не хотелось просыпаться, вставать, а тем более идти на работу, чтобы таскать чужие вьюки, поить чужих коней, убирать за ними навоз. За годы, проведенные в басмаческом отряде, он отвык от труда, от земли, омача – деревянной сохи. Дух собственничества, скаредности, легкой наживы так въелся во все поры его тела, что подточил в нем и те здоровые ростки, появившиеся было, когда в родном Конгуре он зажил новой жизнью в коммуне, радуясь своему обновлению – работе на водяной мельнице, утренним зорям в поле...

Разве к лицу воину ислама, басмаческому джигиту в грязи, в навозной куче копать? И сейчас, будь он чьим-то нукером, имей опору, такого хозяина, как Джунаид-хан, за ним дело не стало бы. Без хозяина в этой чужой стране он был ничто. «Неужто в постылом краю крикливых шиитов нет нужды в отчаянных джигитах?» – зло подумал Курреев и тут же подсадовал на себя. Давно ли в Мешхеде на многолюдной базарной площади, вблизи гробницы шиитского имама Резы, случайно услышав родную речь, он радостно кинулся к рослому, в каракулевой папахе человеку, которого принял было за земляка. Но тот смерил Курреева презрительным взглядом и неожиданно дал ему такую затрещину, что Нуры не удержался на ногах.

– Презренный раб, говори по-человечески! – Рослый человек смачно сплюнул тягучую слюну, ядовито зеленую от наса – нюхательного табака. – На иранской земле принято говорить по-людски, на фарси.

– Я слышал... Вы сами только что говорили по-туркменски, – робко, чуть заискиваяще ответил на фарси Курреев, поднимаясь с земли и отряхивая с халата липкую пыль. Он затравленно оглядывался по сторонам, не видел ли кто его позора: из раскрытых настежь дверей духанов, кавеханэ и шашлычных

выглядывали насмешливые, глазастые физиономии усатых персов. Ни одного сочувствующего взгляда.

– Это тебе почудилось, босяк несчастный, – с издевкой ухмыльнулся незнакомец. Он достал из кармана янтарные четки и, перебирая их толстыми, мясистыми пальцами, неторопливо зашагал к соседней лавчонке, откуда доносился щекочущий ноздри запах свежее испеченного лаваша – тонко раскатанного, как сероватое полотно, пшеничного хлеба.

Но Курреев в тот миг забыл о мучившем его с утра голоде. Надо было немедленно догнать обидчика, с ходу нанести точный удар по шейному хрящу, сильным рывком сбить с ног – так учил валить свои жертвы джунаидовский палач Непес Джелат, – а после топтать его ногами, смешать в кровавое месиво нос, лицо... Когда человек видит свою кровь, наставлял Непес, он цепенеет от страха, если ему даже и не больно. Но на сей раз Курреев сам заостенел с перепугу. Случись такое в Каракумах, на родине, подумал Нуры Курреев, разве спустил бы кому? А с этого лупоглазого шиита заживо шкуру содрал бы!..

...Тоска по дому все чаще глодала Курреева. И вдруг неожиданно даже для самого себя он вспомнил о матери, не по годам дряхлой, не пожелавшей разделить с отцом беспокойную басмаческую жизнь. Почему Нуры так редко вспоминал о ней? Может, потому, что она никогда не одобряла поступков мужа и сына. «Сам непутевый, – укоряла она мужа, – и еще сына с пути сбил...» Она, как и многие жены басмачей, больше молчала, но ее молчание было красноречивее всяких слов и горьких попреков. Зато мать как-то легко и быстро сошлась с Айгуль... Как она там? Как сын? Курреев не знал, кого еще родила жена и жива ли она вообще. Там, за кордоном, в глухом ущелье, в пылу жаркого боя, когда был смертельно ранен отец, Нуры бросил жену, ходившую на сносях. И сейчас, по прошествии двух лет, даже самому себе не хотел признаться, что трусил он тогда, ценою чести спасая свою жизнь. Какой же он джигит? Ему бы вместо тельпека – барашковой папахи – носить бабий платок... Кому такая жизнь нужна? Ломаный грош цена ей в базарный день...

Курреев тут же отгонял эту едва нарождавшуюся здравую мысль... Кого же родила Айгуль, дочь или еще одного сына? От кого

ребенок?! От Мовляма? Или от Ашира Таганова?..

Нуры в бессильной ярости закусил нижнюю губу, почувствовал на языке солоноватый вкус крови... Жаль, ох как жаль, что не удалось тогда снести голову и этому красному выродку... Какой был бы славный подарочек для Джунаид-хана! О, Нуры помнит радостный блеск в глазах басмаческого предводителя, когда преподнес тому хорджун с головой Мовляма, своего двоюродного брата, запродавшего большевикам. Даже невозмутимый Непес Джелат позавидовал. Носил бы Мовлям голову на плечах, если бы не Айгуль. Все беды от нее. Неужто змею у сердца пригрел?! И все же любит он ее, с черными как смоль волосами, белым, как снег пустыни, телом... «Так чего ж ты все-таки хочешь? – спрашивал себя Курреев. – К кому так рвешься? К ребенку? К подлой изменнице, которая предпочла тебя другому?»

Ревность расплавленным свинцом залила все его нутро, заклокотала в горле... Курреев, катаясь по земле, не заметил, как у него вырвался крик, злобный, безысходный, будто вой одичавшей в волчьей стае собаки.

Из-под навеса, от кавеханэ, к Нуры метнулась какая-то тень.

– Ты что, малахольный? За ворота хочешь?

Курреев не успел опомниться, как получил сильный пинок в живот, да такой, что свело дыхание. Тень, чертыхаясь, не спеша удалилась обратно под навес. Курреев и не помышлял дать сдачи обидчику – ведь это был атаман здешних босяков.

Еле отдышавшись, Нуры сел, поправил под собой сбившийся халат, драный и серый, как дорожная пыль, и, устроившись поудобнее, вскоре забылся тревожной дремотой. Он услышал, как где-то вдали пропели вторые петухи. Петухи тут поют по-другому, сипло, взхлеб, не то что конгурские забияки, будившие его по утрам звонким, чистым пением.

«Нет, нет! – проносилось в затуманенной от сна голове. – Лучше подохнуть на родине нищим...»

Курреев не без умысла пожаловался Шырдыкули, как ему опостылела беспросветная бродячая жизнь и что он серьезно подумывает вернуться домой. Шырдыкули мотнул головой, блеснул глазами, плавающими в желтых белках:

– Ты что, джигит, спятил?! Сколько ты красных аскеров порешил? У самого Джунаид-хана, заклятого их врага, в телохранителях ходил. За такое ни одна власть не простит, а советская тем более. Подожди! Есть тут у меня один знакомый. Очень он интересуется такими вот отчаянными парнями.

Слова Шырдыкули вселили в душу Курреева надежду. Но что-то сарайман после того ни разу не оставался с Нуры наедине, будто вовсе и не было того разговора. Забыл, может?..

Нуры не мог понять, отчего вздрогнул. Кто-то тихонько дергал за рукав – Курреев насторожился, но, увидев над собой в полутьме детскую фигурку, успокоился. Нуры узнал немого мальчишку, попрошайничавшего у кавеханэ. Мальчуган, приложив палец к губам, поманил Нуры за собой в приоткрытые ворота, обычно запираемые на засов и множество запоров.

Шлепая босыми ногами по пухлой, еще не остывшей дорожной пыли, Нуры едва поспевал за немым, ориентировавшимся в темноте не хуже камышового кота. Курреев дважды порывался остановить мальчишку, спросить, куда он его ведет. Но тот упрямо тряс головой, что-то мычал, тыча рукой в сторону гор. Тогда Нуры оставил в покое своего бессловесного поводыря и принялся бормотать одну и ту же молитву: «О аллах, вверяю тебе свою горемычную судьбу!..»

Они долго шли по дороге, вспугивая бездомных собак. Миновав уснувшее горное селение, свернули на каменистую тропу, приведшую к уединенному дому, который окружал высокий дувал, утыканный бутылочными осколками. Немой подвел Курреева к небольшой калитке, прорубленной в массивных, обитых железом воротах, и, ткнув в них пальцем, что-то промычал, затем тут же растаял в темноте.

Калитка скрипнула – Нуры робко, озираясь по сторонам, шагнул во двор. Кто-то схватил его за руку и повел по дорожке к дому, чем-то напоминавшему мрачный мешхедский зиндан, в котором как-то пришлось отсидеть после очередной жандармской облавы. Его ввели в просторную комнату, устеленную цветастыми персидскими коврами, залитую ярким светом «молний» – пузатых керосиновых ламп, развешанных на стенах, по углам. На широкой тахте, покрытой ярким атласом, сидели двое: сарайман и высокий, как

жердь, незнакомый мужчина в очках, с европейскими чертами лица. Шырдыкули, что-то пробормотав, многозначительно взглянул на Курреева и вышел. Поблескивая стеклышками очков, европеец весело, словно старый знакомый, улыбнулся Нуры, пригласил сесть на тахту, у которой стоял низенький столик.

– Вам сердечный привет от Джунаид-хана и его сыновей. – Европеец говорил на туркменском языке с легким турецким акцентом.

– А где они? Они живы?!

– Живы, живы! – осклабился европеец, обнажив ровные крупные зубы. – Они ищут вас.

Достав из кармана записку, он протянул ее Нуры. Курреев сразу узнал почерк Эшши-бая и замысловатую печать Джунаид-хана, которую тот обычно ставил на фирманы – указы. «Нуры-джан, верь этому человеку, – прочел Нуры. – Он наш благодетель...» Курреев ухмыльнулся: «С каких это пор я стал Нуры-джан – душа моя?» Но вслух воскликнул:

– Слушаюсь и повинуюсь, мой тагсыр![5] Воля Джунаид-хана для меня закон!

– Прекрасно, мой эфенди![6] – Лицо европейца посерьезнело. – На людях можете называть меня Вели-хан. А сейчас – за дело!

Курреев, приглядевшись, обратил внимание, что европеец – а это был сам Вилли Мадер, эмиссар германской разведки, недавно вернувшийся из Китая, – смахивал одновременно и на туркмена, и на таджика. Такой же чернявый, с темными глазами на продолговатом лошадином лице, облаченный в скромную одежду мусульманских паломников, совершающих хадж[7] в Мекку.

– Вы скоро свидитесь со своими друзьями, – Мадер не сводил с Нуры настороженных глаз. – Но больше всего, мой эфенди, полагайтесь на себя. От вас самого будет зависеть ваша судьба, будет ли у вас работа, кусок хлеба и кров. Златых гор не обещаю – все в воле аллаха. Мой дружеский совет – выбросьте из головы саму мысль о возвращении в Туркмению. Да и Советская власть таким, как вы, не прощает. У вас одна дорога – только с нами. Вы, вероятно, догадываетесь, кто я такой. Я не англичанин, я ваш друг. Я пришел, чтобы спасти вас от голода, нищеты и смерти. Джунаид-хан, наш общий друг, высоко отзывался

о вас.

Мадер кинул косой взгляд на бесшумно отворившуюся дверь, в которой с большим медным подносом в руках появился Шырдыкули. Нуры злым взглядом вперился в сараймана, с языка едва не сорвалось: «Ну, хивинский плут! Сколько золотых туманов заполучил за мою душу? С чего это ты так? – тут же одернул себя Курреев. – Сейчас разумнее в ножки поклониться... Кому только? Может, этому чужеземцу? Но где они, мерзавцы, раньше были, где? Ждали, когда я с голоду околею?»

Курреев жадными глазами вперился в медный поднос, весь заставленный едой. Широкие ноздри хищно вздулись – в носу защекотало от давно забытого острого запаха баранины, сдобренной специями. Взгляд его упал на разварившиеся аппетитные куски мяса, возвышавшиеся горкой, на тонкий свежеиспеченный лаваш, квадратные ломтики овечьей брынзы, присыпанные мелко нарезанным зеленым луком и душистой травой – кинзой, янтарные гроздья винограда, огненные гранаты, хурму.

Такую царскую еду Курреев не видел целую вечность. Разве только в джунаидовской юрте, когда наезжали Кейли, послы эмира бухарского или тайные советники турецкого султана. Не замечая насмешливого взгляда своего благодетеля, не ожидая приглашения, Курреев придвинул к себе поднос и набросился на еду. Раздавалось лишь сопение и чавканье. Обливаясь потом, Курреев пожирал все, мешая горькое и сладкое, заедал густо наперченное мясо приторно-сладкой хурмой, вовсе не подозревая, каким жалким и ничтожным он выглядел в тот момент со стороны.

Шырдыкули внес большую пиалу с голабом – розовой водой для споласкивания рук после еды. Курреев тут же выпил ее до дна. Подними он голову, увидел бы скривившиеся в презрительной усмешке губы немца. «О, майн гот!..» Шырдыкули же не удержался – прыснул от смеха.

Наконец Курреев отвалился от столика, смачно отрыгнул, обтер жирные руки о салфетку. Мадер был занят своей трубкой и, казалось, не обращал на Нуры никакого внимания.

– В животе пусто и на душе грустно. – Немец улыбнулся, хотя подумал иное: «Голодный ишак быстрее сытой лошади скачет. Не поторопился ли я с едой?.. А, шайтан с ним!..» – Все

прекрасно, мой эфенди. Итак, вас разыскивает Джунаид-хан... Напрасно тревожился эмиссар германской разведки. Этот молодой обносившийся туркмен со странной, словно данной в насмешку фамилией Курреев – Ишачков, оказался на редкость сговорчивым. Это и радовало и настораживало разведчика. С таким держи ухо востро: шустрый больно. А шустрые непостоянны... А Джунаид-хан, а его сыновья? Разве Мадер мог на них положиться? Они богаты, независимы, могут снова переметнуться к англичанам, если те подороже заплатят и если фортуна снова отвернется от Германии. А этот Ишачков, то бишь Курреев, – голь перекатная, побежит как щенок за тем, кто его приласкает.

Мадер, проверяя собеседника, а заодно и себя, задавал уйму вопросов, испытывал его находчивость, сообразительность.

– Туркмен признает только... силу, – заговорил Курреев. – Когда Джунаид-хану не изменяла удача, его окружала тьма нукеров, у его ног ползали даже ишаны, ахуны, известные во всем Туркестане духовники. А про ханов, баев и простую чернь и говорить нечего. Я знал одного голодранца, Тагана, моего односельчанина. Обласкал его хан, сотником сделал. А он? Ответил черной неблагодарностью, переметнулся потом к красным. Почему? Да потому что прежняя сила у Джунаид-хана убывала... Вот и изменил, собака. А красные его тут же искусили, сделали командиром эскадрона. Да недолго пришлось ему верховодить. Хырслан, земля ему пухом, подстрелил его, а Аннамет заманил в ловушку и сжег заживо...

– Кто такой Аннамет? – перебил Мадер. – Где он сейчас?

– Он был правой рукой сотника Хырслана, потом сам стал ханской сотней командовать, юзбашом. Сейчас должен быть подле Джунаид-хана. Красивый такой, аж мозги видать!.. Безносый. – В темных зрачках Курреева вспыхнули злые огоньки. – А что худого сделал я, что отняли у меня жену, детей? Их дал мне аллах... Жаль, не успел я сквитаться с Аширом, сыном Тагана... Змееныш, родившийся от собаки! Будь у меня сила, власть, тот же Ашир заглядывал бы мне в глазки! Будь у Джунаид-хана сила, большая армия, комиссарам во веки веков не обратить туркмен в свою веру. Пророк Мухаммед с мечом и Кораном в руках обращал язычников в

свою веру. И нам нужен сейчас такой пророк, с жесткой рукой и твердой волей, глухой к людским мольбам. Беспощадный и мудрый. Мягкость, бесхребетность ведет к гибели народа. Джунаид-хан, не дрогнув, застрелил родную дочь, убил брата. Во имя веры, во имя великой цели! Хан любил повторять: «Султан не знает родства».

Мадера так и подмывало перебить Курреева: «Вы правы, мой эфенди. Такой пророк нам нужен всем. Скоро он явится миру! Ему покорятся все народы земли...» Но немец лишь молча кивал головой.

Нуры Курреев, еще вчера сносивший пинки, доедавший объедки с чужого дестерхана-скатерти, уже исходил желчью, злобой. Сидя с Мадером за бутылкой иранского шербета, мнил себя чуть ли не самим Джунаид-ханом, ведь он тоже не дрогнул, когда убивал своего брата. Поступок, достойный султана.

Щуря близорукие глаза, Мадер снял очки, тщательно протер стеклышки платочком и снова водрузил их на крупный, породистый нос. «Вот какие нам парни нужны, – подумал он. – Легион таких фанатиков, и Туркестан у наших ног...» Что ж, он, Мадер, не прогадал, не ошибся в этом молодом злом туркмене.

Сколько ни вглядывался Нуры в глаза своему собеседнику, так и не понял, что тот думал. О людях с такими непроницаемыми лицами хан как-то заметил: «Лучше иметь невозмутимое лицо, чем несметную казну». Однажды хан, распекая своих юзбашей за жадность, сказал: «И чего вы за богатством гонитесь? О душах своих позаботьтесь!.. Богатство закабальет человека, лишает его воли». Тоже лицемер! Слушай, что мулла говорит, но не поступай, как он делает, ибо у него слова всегда расходятся с делом. Напротив, богатство раскрепощает человека, делает его свободным, независимым. Бедность – это жизнь на коленях, а в богатстве сила и величие. Уж это-то Каракурт на себе познал. – О мой эфенди! – Мадер вынул изо рта дымящуюся трубку. Говорил он, как всегда, чуть выпренно. – Да вы никак пригорюнились... Как вершина горы не бывает без дымки, так и голова джигита без думки, – так, кажется, говорят туркмены? Надеюсь, вы не думаете плохо о своих друзьях? Подойдите вон к

тому столу, я кое-что вам продиктую, – немец кивнул головой на темный секретер, стоявший в углу.

Округлые буквы, старательно выводимые рукой, косо ложились на листок: «Я, Нуры, сын Курре, родом из аула Конгур, по кличке Каракурт, обязуюсь верой и правдой служить разведывательным органам Германии...» Курреев прочел написанное и сам подивился: неужели все это он написал? Ведь последний раз брался за карандаш года три назад, когда помогал личному секретарю Джунаид-хана, которому хотел доказать, что аульная школа, а после и уроки ишана Ханоу неплохо выучили грамоте и его.

Над ухом раздался игривый голос немца.

– Каракурт! – хохотнул он. – Недурно придумано, а? Мы, немцы, любим символику. Это говорит о высокой культуре нации. Говорят, укус каракурта, этого невзрачного на вид паука, сражает наповал даже верблюда. Колоссально! Каракурт, каракурт... Прелестно, мой эфенди! – Мадер потирал длинные костяшки пальцев. – Не довелось мне пока увидеть это экзотичное насекомое. Разве только в музее. Не бывал я в Туркмении, не приводилось...

– А может, махнем, мой тагсыр? – В глазах Курреева мелькнули чертики. – Я покажу вам и каракуртов. Поведу такими тропами, что ни одна собака не сыщет. На Каракумы поглядели бы и этому голодранцу Аширу Таганову кишки заодно выпустили бы...

– А вы, мой эфенди, сорвиголова! – Мадер с восхищением оглядел своего новоиспеченного агента. – Увидеть Туркмению – моя голубая мечта. Надеюсь, мой эфенди, что в один прекрасный день вы пригласите меня в свой дом. Не украдкой мы с вами туда войдем, а открыто. Разумеется, это будет возможно, когда изгоним оттуда большевиков. И приблизить этот час – в наших с вами руках!

В дверях снова бесшумно возник Шырдыкули с ворохом одежды и обуви. Каракурт облачился в темный персидский костюм, обмотал вокруг головы белоснежную чалму, обул мягкие с загнутыми носками ичиги и стал похож на шиитского богомольца.

– Колоссально, мой эфенди! – Мадер оглядывал Курреева со всех сторон. – Говорят, в крови у предгорных туркмен немало персидского. Как же, веками обменивались визитами, набегам,

наложницами... Любой перс заглядится на ваш горбатый нос. А теперь выслушайте меня внимательно. – Лицо немца еще больше заострилось. – Вы отправитесь в Мешхед, к реке Кешефруд, что пересекает город, затем по территории мавзолея имама Резы или, как называют его туркмены, Кизыл имама. На втором мосту, за мавзолеем, вверх по реке, каждый четверг после полудня вас будет ждать мой человек. Встретитесь с ним и станете его тенью. Запоминайте всех, с кем он встретится, их имена, приметы. Запоминайте все, о чем они будут говорить. Вас поведут на сборище, где будут люди, которые нас интересуют. Запоминайте их имена, где живут. В Советском Союзе ли, в Иране, Англии, Афганистане, Германии, Турции, хоть в преисподней. Пароль для связи: «Скажите, верно ли, что для получения сана хаджи достаточно побывать у святого Кизыл имама?» Отзыв: «Святая святых мусульман – Кааба в Мекке, но страждущему правоверному и посещение Кизыл имама дает право на такой священный сан». Знайте – всякий, кто придет с таким паролем, мой человек, и вы обязаны ему повиноваться. Taryhy proza